

Опустевшее гнездо



Аннотация

Вчера чета Кейков усадила Пампкин и Паунда на поезд — у них первый год в колледже.

Вчера был трудный, невероятно трудный день.

А сегодня будет ещё труднее.

Автор: [The Descendant](#)

Перевод: [Doof.Ex.Machina](#)

Вычитка и редакция: [OldBoy](#), [Nogood](#), [Dark Room Collaboration](#)

Иллюстрация: [NATAnatfan](#)

Опустевшее гнездо

Кэррот Кейк почти сразу понял, что проспал дольше обычного.

Потом вспомнил, как они ложились в кровать со слезами на глазах.

Жеребец усилием воли прогнал остатки сна. Туманные летние зори плавно подхватывали шуршащие песни ранней осени, а среди зеленых полотен начинала проглядывать легкая рыже-золотая рябь. Ушла летняя духота, отчего по ночам спалось гораздо легче. Он поглядел на кобылу, дремавшую в его ногах, и мысленно поблагодарил прохладные ночи, от которых волей-неволей жмешься к теплу.

Но чего правда не доставало, так это пения птиц.

Тройку месяцев назад, когда весна перетекала в лето, под карнизом «Сахарного Уголка» обосновалось семейство ласточек. И изо дня в день, не успевала принцесса Селестия поднять солнце, они начинали щебетать. Поначалу это сводило с ума, особенно на летнее солнцестояние — едва клятые пернатые затыкались, как тут же снова поднимался их ушераздирающий гам.

Однако сейчас, в последние деньки лета, Кэррот лежал и внимал тишине, сетуя, что птичьих трелей больше нет — остались они лишь в памяти, как остались там мимолетные пикники, фейерверки и гуляния. Крохотные птенчики росли крепкими и задорными, но пришла пора им самостоятельно взмыть в небо. И только пустое гнездо, сухое и увядшее, медленно осыпалось прахом, унося воспоминания.

Кэррот наострил уши и прислушался. «Сахарный Уголок» дышал безмолвием, и даже шум с улицы звучал необыкновенно глухо, будто весь Понивилль заметил едва уловимые следы осени. На «Уголке» перемены отразились явственней всего; десятилетиями дом не бывал таким тихим.

День вчерашний выдался трудным, невероятно трудным.

А сегодняшний обещал оказаться еще труднее.

Кобыла потянулась, легко вздохнула, и он ощутил прикосновение ее мягкого тела. Единственная тонкая простыня вместе со старым стеганым одеялом вздымались и опадали под ее движениями, очерчивая чудесной красоты тело. Кобыла засопела и потерлась о Кэррота.

С годами она становилась точно выдержанное вино. Он же — кис как молоко.

— Кэррот? — шепнула Капкейк. — Спишь?

Он смахнул светло-малиновый локон с ее лица. Серые прядки струились в гриве, как серебристые ручейки, и он аккуратно перебирал их копытом, помогая жене проснуться. Она довольно вздохнула, когда Кэррот поцеловал ее за ушком, перекатилась на бок и посмотрела ему в глаза.

— С добрым утром, мармеладка. Привет тебе от нашего опустевшего гнездышка.

Слова не вызвали хоть бы и легкого смешка, как он надеялся. Она просто уткнулась носом ему в шею, а рассвет меж тем озарил крыши соседних домов. Двое пони лежали на супружеском ложе и внимали всепоглощающей тишине, царившей в пекарне и доме.

Да, сегодняшний день явно будет не из простых.

* * *

Кэррот Кейк смотрел в ванное зеркало — немолодой жеребец, что глядел в ответ, был не самым вдохновляющим зрелищем. Седые волосинки, куда более белесые и заметные, нежели серебристые локоны супруги, пробивались в гриве и длинной плотной бороде. Он поморгал, прогоняя образ, и умыл копыта. Образ настойчиво не желал уходить.

«Старик ты».

Капкейк он обнаружил у лестницы; она не отрывала взгляда от пустой спальни, что была чуть дальше по коридору. Солнечные лучики, предвестники рассвета, омывали ее оттенками розоватого и янтарного, будто бы утешая. И уж это зрелище стало бы самым прекрасным на свете, если б не выражение ее лица.

Обычно по утрам она уже была внизу, вовсю готовила кофе. Однако сегодня совсем не обычный день.

— С ними все хорошо, мармеладка, — подойдя ближе, он нежно ткнул ее носом.

Вместе они воззрились на незанятое и безмолвное место, где всю свою жизнь провели их сын с дочкой. Воззрились на кровати, заменившие собой колыбели, куда они укладывали жеребят восемнадцать лет назад. На опрятный и прибранный стол, оставленный Пампкин, и на сущее бедствие, служившее когда-то Паунду рабочим местом, хотя так сразу и не скажешь.

— Все с ними хорошо, имбирек, — повторил Кэррот, вкладывая в слова нотки уверенности. — Прислали нам телеграмму: «добрались благополучно». Они заселились в общежитие, и дела у них идут просто прекрасно. Они будут отлично учиться до конца года, а потом, когда вернутся на Согревающий очаг, мы просто лопнем от гордости.

— Согревающий очаг? — прошептала она. Нечто далекое сквозило в ее голосе; праздник вдруг показался совсем неблизким.

— Они в порядке, пышечка, в порядке, — он снова потерялся о ее мордочку, напоминая, что он рядом. — И в университете у них все будет здорово. Они выросли молодцами. А воспитавшая их мама еще больше молодец.

Старания Кэррота были вознаграждены самым восхитительным звуком — хихиканьем Капкейк, — и безмолвие наконец покинуло второй этаж «Уголка». Кобыла тронула носом в ответ, скользнула вдоль его мордочки, пока не наткнулась на рот, чтобы неспешно поцеловать.

— Знаю, знаю. Они справятся, — она прижалась к своему жеребцу. — А папа у них разве не молодец?

Они снова поцеловались, и еще один смешок сорвался с ее уст, прежде чем она направилась вниз на кухню. Кэррот же на пару мгновений задержался наверху, провожая ее взглядом. Дал жене разбить тишину, что сковала лавочку, — Капкейк всегда спускалась первая, заваривала кофе, готовила семье завтрак. Дал привычным звукам — негромкому цокоту копыт и первому бульканью кофейника — обмануть себя; заставил себя поверить, что новая жизнь не так уж отличается от старой.

Он повернул голову и уставился на спальню...

— Эй, Паунд, в школу пора, друг ты мой.

— Хмфр-р-р-р-р...

Но тут же отвернулся от нахлынувших воспоминаний и потряс головой. Он скользнул взором по коридору, к комнатам, где некогда жила другая обительница пекарни. Ее переезд был не меньшим испытанием: слезы, объятия — все как вчера. Комнаты, покинутые второй дочерью — дочерью не по крови, но по духу, — наполнились пустотой и тишиной, словно корабль, разбившийся у дальних берегов. Следующий день после ее отъезда тоже выдался тяжелым, но то была лишь прелюдия к тому, что поджидало его с женой сегодня.

Да, в таком-то царстве пустых гнезд дни легкими не бывают.

«Сегодня хотя бы заскочит Пинки, — подумал Кэррот и, проведя копытом по сидящей гриве с бородой, повернулся к лестнице. — Хотя бы так, хотя бы так».

Он не спеша спустился вниз, выкинув из головы второй этаж. Оставляя там безмолвие, неподвижность и одиночество.

* * *

Кофе был хорош.

Они сидели за небольшим столиком для завтраков — вдвоем, никого более, — но разговора не клеилось. Накалялись печи, вспыхивали один за другим голубые огоньки, тихонько дребезжали стальные решетки. Вскоре комната наполнится жаром, и лето (или что там от него осталось) постепенно вернется в «Сахарный Уголок».

— Н-надо бы потом окна открыть, — подал голос Кэррот. — Не то зажаримся тут.

— О, думаешь? — вздрогнула Капкейк, кофе заплескался у нее в чашке.

Она поглядывала то на один, то на другой пустой стульчик, стоящие по обе стороны столика. Отведя взгляд, кобыла поняла, что Кэррот заметил ее румянец, а тот понял, что она не проглядела тревогу в его глазах.

— Эх, — начала она, — ничего не могу с собой поделать.

Кэррот наклонился и протянул копыто через стол — она крепко стиснула его.

* * *

— До-о-о-оброго утречка всем! — раздался певучий голосок.

Стрелка часов застыла ровно на назначенном часе. В пекарню скачком влетела Пинки и обвила Капкейк и Кэррота передними ногами, даря им щедрые, крепкие и теплые объятия.

Само время, казалось, не понимало, что ему делать с Пинкаминой Дианой Пай. Нет, она действительно была уже не той, что в юности: не странствовала по Эквестрии и не билась против древнего невыразимого зла во имя смеха и дружбы, но едва ли это на что-то повлияло. Пинки Пай оставалась все тем же бьющим ключом энергии, и Кейки еще долго не могли взять в толк, где она отыскала жениха под стать себе. Строили догадки они и насчет того, почему ее жеребята никогда не капризничают по вечерам, а ночью спят без задних ног: диво ли, если мамаша утомляет детишек больше, чем они — ее?

Телом Пинки Пай давно напоминала не моложавую кобылку, но мать, однако не более. Незаметные заминки да внезапная любовь заглянуть с утра на чашечку кофе — единственное, что намекало Кэрроту на подкрадывающийся четвертый десяток ее лет. Не считая этого, Пинки оставалась все той же самой Пинки. Иногда к несчастью.

— Доброго, доброго утречка!

Пинки, выпустив Кэррота и Капкейк из объятий, сделала невероятный пируэт на заднем копыте и, смеясь, вновь раскинула передние ноги в стороны.

— А как насчет обнимашек от мои...

Больше на кухне обнять было некого. Удивленно моргнув, она тяжело вздохнула и плюхнулась на деревянный пол.

— А, — слабо протянула она, — точно. Они ведь в колледже. Мы вчера закатали им большущую вечеринку а потом плакали и радовались и рыдали и гордились и снова плакали и усадили на поезд а затем обнимались и лили слезы и махали на прощанье и опять плакали...

— Да, — Капкейк медленно приблизилась к ней. Фальшивый смешок закрался в голос жены; Кэррот прынул ушами — она пыталась скрыть чувства. — Да, все это. Неужели ты забыла, Пинки, дорогуша?

— Ну как же такое забудешь. Большая была вечеринка, я выложилась на все супер-пупер-дупер сто процентов.

— А может быть и еще на двадцать сверху, дорогуша. Она была чудесной. Все твои вечеринки были, есть и будут чудесными, — Капкейк приобняла кобылу. — Она им очень-очень понравилась.

— По-моему, у м-меня... такое чувство, что я... тоскую по ним. Смерть как скучаю. В смысле, горжусь за них, и уж точно они далеко пойдут! Но просто... скучаю по ним, — Пинки потянулась в объятия к Капкейк.

— Знаю, дорогуша, нам их тоже сильно не хватает, — приговаривала та, поглаживая гриву розовой кобылы. Их голоса едва заметно надломились, отчего Кэррот вновь повел ушами. Зная Пинки с младых копыт, он нисколько не сомневался, что будет дальше.

И поспешно удалился за шваброй.

— Капкейк? — мягким и тихим голосом произнесла Пинки. — Много ведь мы вчера плакали, а?

— Да, немало.

— По-моему... мне надо еще чуток, Капкейк.

Сперва кобыла шмыгнула носом, а затем целые водопады соленой влаги хлынули из ее глаз под аккомпанемент стенаний. Кэррот испустил вздох — он-то надеялся, что сегодня обойдется без всей этой театральной драмы, и сейчас его чаяния стремительно утопали в ручейках, заливавших первый этаж.

Пока Кэррот копался в кладовке, он невольно прислушивался: жена вовсю баюкала и утешала Пинки Пай. Ее голос, перекликающийся с хныканьями Пинки, наполнял пекарню звуком. Со шваброй в зубах, он потянулся за старым ржавым ведром...

— *Пока, пап! Люблю тебя! Буду после школы!*

— *И тебе пока, милая! Тоже тебя люблю. Хорошего денька!*

Громыхая, оно покатилося по кладовке, а швабра выпала изо рта.

Кэрроту даже показалось, будто он ответил дочери вслух, а не мысленно. Стремительно обернулся: вдруг кобылы услышали грохот или, того и гляди, заметили, как он даже ведро поднять не может? Те, впрочем, были заняты собственными переживаниями.

Жеребец перевел взгляд на лестницу и вспомнил, как его милая дочурка говорила эти слова каждое утро — каждое, со времен детсада до выпускного пару месяцев назад. Вспомнил, как отвечал почти то же самое, что сорвалось с его уст миг назад, а она тем временем мчалась к выходу.

Он закрыл лицо копытами. Сегодня намечался непростой день, но чтоб настолько! Он еще раз вздохнул, подхватил ведро со шваброй и окунулся в бурлящие потоки слез, затопивших всю пекарню.

— Ничего, Пинки, с ними все хорошо, — он прижался к Пинки лбом и разделил общие объятия.

— Ну что вы, девочки, нам пекарню через час открывать...

— ...Да, давайте вместе дружно держаться, а?

* * *

— Спасибо, что заглянули. Удачного вам денька, правда-правда!

По мере того как покупатели наводняли лавочку, жизнь в «Сахарном Уголке» постепенно возвращалась в привычное русло. Звонкий голос Пинки переливался над головами Кейков, в пекарне даже стало как-то светлее.

Выпечка буквально выпрыгивала из печей, а Капкейк поливала ее шоколадом или посыпала сахарной пудрой, что взвивалась маленькими белыми облачками. Вот она, казалось, привычная жизненная рутина, пускай и без двух чрезвычайно важных участников.

Кэррот утер пот со лба и, осторожно вынув очередной противень, поставил его на стол. Взял в зубы лопатку, как бесчисленные разы до того, и с великой бережностью перенес каждое угощение на охлаждающую решетку. Все как и должно быть, все как всегда...

...только отчего же на душе так прескверно?

Весь дом будто накренился и потерял в весе.

Он поймал себя на этой мысли, когда, стоя рядом с мигающей голубоватым пламенем печкой, заметил загоревшийся край своего фартука. Он потушился с наигранной чинностью и, зардевшись от стыда, обернулся к Капкейк. Тогда-то он заметил, что и сама она блуждает где-то в собственных думах.

Он определил это по легким вздохам, по взгляду куда-то в окно и по тому, как она поливала шоколадом грязную посуду, пока свежая выпечка размокала от воды в раковине.

— Пышечка? — прошептал он.

Капкейк перевела взгляд на озабоченное лицо мужа. Кобыла только открыла рот, и в тот же миг в дверь кухни кто-то постучал.

— Телеграмма! — возвестил веселый голос.

Капкейк мгновенно очутилась у прохода. Кэррот не упустил из виду, как она ринулась с места, как одним махом добралась до двери, не дав незнакомцу даже договорить. Заметил он это, разумеется, потому как сам сделал то же самое.

Дверь распахнулась со страшной силой — почтальон Морзе ошеломленно отпрянул и уставился круглыми глазами на двух немолодых пони, смотревших в ответ со смесью тревоги и радости во взорах.

— Из университета?! — вскричал Кэррот.

— Что там?! — вторила ему Капкейк.

— А-а! Н-нет! Нет, от нашего городского совета... Хо-хотят, чтоб вы доставили каких-нибудь десертов на собрание часам к двум пополудни.

Морзе трясущимся копытом выставил телеграмму перед собой; взгляд его метался меж двух перевозбужденных пони, застрявших к тому же в дверном проеме.

Кэррот и Капкейк несколько раз перечитали текст. И правда, обычная записка, которая взывала к их пекарским талантам и предлагала взамен справедливую оплату. А почтальон больше не казался черным гонцом с сотней вестей о надуманных бедах или с еще какими внезапными откровениями. Никаких проблем со здоровьем или деньгами, никаких личных трудностей у двух жеребят — нет, двух молодых пони, — отчаливших от пристани едва ли день назад.

Кейки переглянулись и с точностью угадали мысли друг друга, как то свойственно всем давно женатым. Они, рассыпаясь в извинениях, всучили Морзе поднос вчерашнего печенья, и тот удалился из «Уголка» в куда лучшем настроении, чем до того.

Чего нельзя было сказать про двух пони, оставшихся за его спиной.

— А я так надеялась, — сказала Капкейк, — ох, так надеялась... что они, может, прислали...

— Понимаю, мармеладка. Поверь, понимаю, — Кэррот подступил к ней и заглушил вздох, сорвавшийся было с ее губ, вселяя надежду в завтрашний день. — Нам только пережить день, и все, пышечка. Всего денечек.

Она снова вздохнула и открыла было рот, чтобы что-то произнести. Что-то невероятно важное, такое, что не удержишь в себе. Но вместо этого просто ответила на объятия мужа и возвратилась к работе.

Жеребец поглядел на нее миг-другой, после чего тоже вернулся к противням и печам. На втором этаже заскрипел по полу мольберт, который двигала из угла в угол его дочь.

Кэррот зажмурился, прогоняя из головы призраки былого, и открыл дверцу печки.

* * *

— Привет, э-э-э... пап? Я... я, э-э, сегодня типа подрался в школе...

— Это в каком смысле «подрался»?!

Он мгновенно зажал рот копытами. И чуть не полетел кубарем с лестницы — увы, гравитацию и инерцию мало волновала его внезапная нужда заткнуть себе рот. Он едва удержал равновесие, как вдруг боль жестокой волной прокатилась по костям, а старые жилы недобро отозвались на попытку пошевелиться.

Полуденная дрема, которой обожали предаваться Кейки, с возрастом приобрела совсем иное значение. Сегодняшний сон Кэррота наполнился образами и звуками, что вились в грезах роем оборванных слов и вспышек озарения.

Проснувшись, он обнаружил, что Капкейк тихо всхлипывает во сне. Жеребец поцеловал ее за ушком и не отпускал, пока она не стихла.

— Один денечек, Каппи, — шепнул он, прежде чем встать с кровати. — Всего-то денечек. Вместе, дружно.

А когда спускался вниз по ступеням, словно из ниоткуда на него набросился виноватый голос сынишки. В итоге Кэррот Кейк сидел теперь у подножия лестницы и потирал копытом седую бородку с гривой; его передние ноги, плечи, загривок, спина и круп нещадно ныли.

Тихо ойкнув себе под нос, он приподнял веки. Два ясных голубоватых озера разглядывали его в упор. Только секунду спустя до него дошло, что это чьи-то глаза. Когда-нибудь в молодости от такого зрелища он непременно подскочил бы с воем до потолка. Однако после годов и даже десятилетий рядом с Пинки Пай это сделалось само собой разумеющимся — а, скорее, вообще обязательным.

— Приветик, Кэррот! Мне послышалось, ты что-то сказал, а потом грохнулся с лестницы. Что-то вроде «Это еще в каком смысле „подрался“?!» но я-то уж точно ни с кем не дралась а поэтому подумала может ты подумал что я крикнула что-то вроде «А, лимонные безе?» — но это ж полная бессмыслица так что я побежала тебя переспросить но тут вспомнила как ты бухнулся с лестницы а это-о-о...

Кэррот подождал, пока она переведет дыхание.

— ...А это гораздо важнее. Важнее важнее, я б сказала, так что я приволокла аптечку и перевязала тебя. Ну как, лучше?

Кэррот целую секунду переваривал ее словесный поток, после чего оглядел себя: действительно, его замотали в марлю. Ну что тут скажешь: живешь с Пинки — принимай, не удивляйся.

— Э-э, да, Пинки, это самое я и сказал. Прости, что переполошил, — он с трудом поднялся на ноги.

Поборовшись чуток со сложной паутиной бинтов, он сделал шаг и опять растянулся на полу. Ноги путались в слоях белой ткани, покрывавшей все тело, отчего он походил на обитателя какой-нибудь древней гробницы.

— Ой-ей! — хихикнула Пинки. — Перестаралась, кажись, а? Ну-ка, давай помогу!

— Ты здесь ни при чем, Пинки.

Пинки окинула его взглядом с ног до головы и, ухватив свободный конец зубами, потянула марлю на себя. И пока бинты сходили, обнажая новые беловатые слои, он что есть сил старался поддерживать разговор:

— Нет, ты тут совсем ни при чем, просто я... ну, чего лукавить, рассеянный я какой-то сегодня. Все...

— Все не выпускаешь из головы Пампкин и Паунда, слышишь их голоса, шаги и вообще всякое, будто они еще дома?

— ...все не выпускаю их из гол... овы, да, как-то так, — подытожил Кэррот. Теперь и сама кобыла была наполовину замотана в марлю. Достойная партия обитателю гробницы. Удивительно, как Кэррот еще успел договорить... а хотя... что там было про жизнь с Пинки?

— Я тоже жуть как по ним скучаю. Потому и удивляюсь, как вы с Капкейк не присоединились к моим грандиозно-великим утренним рыданиям, — она поймала свободный конец марли.

Кэррота будто ударили под дых.

— Что ты такое говоришь, Пинки? Мы с Каппи вчера прорыдали весь вечер, когда садили их на поезд. Все глаза выплакали. И заснули в слезах!

Он смерил витрину, где только что была кобыла, недовольным взглядом. Все без толку, ибо в следующий миг Пинки вынырнула из шкафчика на другом конце лавки.

— Ну да, знаю! Я ведь была с вами, и тоже плакала, и все такое! — Она пробежала вдоль марли до места, где та намоталась на заднюю ногу. — Но это ж большая разница!

«Такая уж большая?» — пронеслось у Кэррота в голове.

— А то! Есть разница, за кого ты плачешь, — продолжала она, будто прочитав мысли, и завертелась вокруг жеребца, заставляя того кружиться вместе с ней. — Вчера мы плакали за Пампкин и Паунда, и потому что гордимся за них, и будем скучать, и видели, как они выросли, и прочие радости. За них мы плакали вчера.

Кэррот подождал, пока мир прекратит кружиться, а звезды в глазах не улягутся, и снова поймал взгляд Пинки.

— Так... а за кого же мне надо плакать сегодня, Пинки?

— Еще спрашивает! — Пинки приблизилась почти вплотную. — Сегодня тебе надо плакать за себя и Капкейк. Лейте слезы за самих себя!

Кэррот непонимающе моргнул.

— Подумай сам, — она уселась перед ним, вертя в копытах последние ленты марли. — Вчера мы плакали от радости. А сегодня плачем от грусти. Сегодня утром я рыдала, потому что скучала по Пампкин и Паунду, потому что некого было обнять. И больше уже такого утра у меня никогда-никогда не будет...

— Пинки, это... это очень трогательно, — начал было жеребец, но умолк, стоило Пинки податься вперед и заключить его в объятия. Он обнял ее в ответ.

— Гляди, мне ведь помогло, — она оторвалась и, выразительно жестикулируя, продолжила: — Знаю, звучит малость эгоистично, но вам надо поплакать и за себя тоже. Сегодня живете в огромном пустом гнезде, а вчера усадили на поезд здоровенную часть себя, Кейков... всех-всех Кейков: Пампкин, Паунда, Кэррота, Капкейк. Надо попрощаться с той частью вас, которая была мамой и папой двум жеребяткам. А если нет... день у вас будет ой какой непростой!

Глаза Кэррота округлились.

— Если не проплачетесь днем, — она снова обвила его ногами, — то засыпать уж точно будете в слезах.

Она нежно, любяще чмокнула жеребца в щеку.

— Я вас люблю и представить себе не могу, чтоб вы все время рыдали и ходили вот с такой кислой миной, агашечки?

С этими словами Пинки стянула последние остатки марли, и Кэррот, кружась, улетел напрямиком на кухню.

* * *

Добрую половину следующего часа Кэррот в молчаливом одиночестве готовил пироги для совета. Жену будить не стал, сон поможет ей набраться сил.

«Сегодня тебе надо плакать за себя и Капкейк...»

Слова Пинки все гудели, гудели, не желая покидать головы. Жеребец с трудом управлялся с работой. Пироги вышли порядочные — не самые лучшие в жизни, но для такой банальности, как заседание совета, более чем сгодится. Голову его занимали сотни вещей, только не пироги. Он неслышно выругался.

Плакать за себя и Капкейк? Но это ведь так... эгоистично. Нелогично. Какое у них право? Его жеребята выросли хорошими пони, умными и сильными. Он гордился ими, мама гордилась. Они далеко пойдут. Так-то.

Кэррот тряхнул гривой и расхохотался. Пинки не согласится, но для слез был день вчерашний. А сегодняшний они переживут, надо только вместе, дружно — напомнил он себе, открывая ящик. Пригляделся в поисках набора добротных лопаток, затерянного где-то в недрах...

...и неожиданно, гремя по днищу ящика, ему на глаза выкатилась пара забытых мелков.

Мелки.

— Пап! Пап!

— Кэррот, ты глянь!

— Иду я, иду! Чего вы там расшумелись?

— Пап, смотри! Я рисовала и тут подумала: а если магией? Нарисовала тыквенный пирог, и моя магия закружилась по кухне, а потом на бедрах стало холодно, а потом... смотри!

— Кьютимарка, Кэррот! Пампкин получила кьютимарку!

— Да, пап, кьютимарку! Еще какую! Смотри!

— Ты моя девочка! Большая, большая девочка!

Кэррот, шатаясь, отпрянул. Воспоминание нахлынуло на него. Чуть не сбило с ног. Одно из самых прекрасных мгновений из жизни его чудесной дочурки расцвело в комнате во всех красках, заиграло на тончайших струнах памяти.

Он застыл на секунду, покачиваясь из стороны в сторону, и проворно запустил копыта в ящик.

«Где лопатки, Селестия их спали?! А, плевать! Вилками обойдутся. Н-надо уходить отсюда».

Нельзя ему сейчас здесь быть. Нет-нет, совсем никак. Только не на кухне, не в лавке, не в доме, где росли его дочурка и сынишка. Надо бежать, если он хочет вместе и дружно, если хочет пережить непростой день, если хочет быть сильным. Ради Капкейк.

Он опрометью запихал пироги в контейнер. К его удивлению, лопатки нашлись в боковом отделении. Он даже не потрудился отряхнуть контейнер... только лишь рассовал пироги по стальным подносам и схватил зубами проволочную ручку.

Кэррот проскакал к выходу из кухни, сосредоточив взгляд на двери... двери, что вела во внешний мир, где есть и звуки, и цвета, и другие пони. Пони, с которыми можно перекинуться парой словечек. Отвлечься от мыслей.

Он минул двери-створки; Пинки за прилавком беседовала с Давенпортом. Владельца «Перьев и диванов» года не пощадили даже сильней.

— Здорово, Кэррот! — поприветствовал жеребец. — Мои поздравленья вашему пуст...

— Пинки! — выпалил Кэррот первое пришедшее в голову. — Я тут с пирогами для совета.

— У-у, так быстро, Кэррот? — кобыла кинула взгляд на нарисованные у пясти часы. — Им пироги нужны будут только через час. В смысле, лучше рано, чем поздно, но если совсем-совсем рано, то все всё забудут и будут думать, что опоздали, а если все подумают, что опоздали, то хуже просто...

Кэррот вжался в дверь — ему уж на сегодня хватит.

— Скажи Каппи, что я скоро! — громко выдал он. — Только не буди, пожалуйста, ей...

Задней ногой он нечаянно задел подвальную дверь; дерево протяжно заскрипело на петлях, не смазывавшихся Селестия знает сколько лет. И только скрип коснулся его ушей...

— *Мам? Пап? Па-ап?! Ма-а-ам?! ПАПА-А-А!*

— *А, чего, Паунд? Что такое?*

— *Мо-можешь на секундочку подойти? Пожалуйста? Со мно-мною что-то странное...*

Скрипучая дверь... Кэррот открыл скрипучую дверь и спустился в подвал, где его сын торчал большую часть свободного времени. Долговязый, нескладный жеребчик дрожал; рядом на холодном каменном полу валялась гитара.

— *Что стряслось, дружок?*

— Пап! Пап, я такой очуменный рифф играл, он мне в голову пришел. И почти заканчивал, когда, ну... это чувство такое внезапное было. Это... это типа как у меня под кожей что-то! Пап, не могу... Останови его!

— Все хорошо! Ничего страшного, сынок, с жеребятами твоего возраста такое случается. Все нормально. Бери гитару.

— Пап?

— Бери гитару, Паунд, я рядом. Сыграй этот свой «очуменный рифф».

Кэррот вспомнил, как перепугался за сына, как успокаивал его, пока тот нетвердым копытом тянулся за гитарой. Скоро «музыка» загремела вновь, и на миг будто сами звезды низверглись с неба, раскалывая ледник, — таков был тот звук.

— Пап? Пап, это... Папа! Кьютимарка! Ой-ей... моя метка!

— Да, просто надо не останавливаться. Ничего, такое иногда случается. Все хорошо.

— Не верится даже! Крутотень! Гитара... и вообще! Глянь только!

— Чудесно, сын. Прекрасная кью... метка. Пошли покажем ма...

Сын обнял его. Жеребчик, сделавший первый шаг на пути ко взрослому жеребцу, заключил старика-папашу в объятия.

Воспоминание с головой накрыло побледневшего Кэррота.

— ...ей надо поспать, — наконец выговорил он и со взглядом, блуждающим в пустоте, выскользнул на улицу. Замер, уселся на землю, дрожа, как дрожал некогда сын. Обрывки памяти роились в голове.

Откуда-то из глубин лавки донесся тяжелый вздох Пинки.

— Простите за это, — извинилась она, упаковывая заказ. — У него... э-э, у них обоих выдался тяжелый денек.

Давенпорт молча кивнул и терпеливо подождал, пока она закончит.

* * *

Немолодой жеребец утвердился на ногах. Не выпуская контейнера изо рта, он поднял взгляд к крыше дома.

Под козырьком, сразу над окном спальни, примостилась куча бурой глины и травы. Гнездышко, оставленное птенцами ласточки, купалось в лучах полуденного летнего солнца... обездоленное, пустое, удрученное, одинокое.

«Сегодня тебе надо плакать за себя и Капкейк...»

Кэррот замотал головой, но, лишь только вспомнив о ломком содержимом контейнера, прекратил. Расправив плечи, он с целеустремленным взглядом зашагал к далекому шпилю ратуши, что высился над понивилльскими крышами.

А в небе над головой сновали пегасы и сгоняли угрюмые черные тучи, сулившие дождь.

* * *

Айвори Скрипт, которую все по привычке звали просто «мэр Мэйр», была давней подругой четы Кейков. Нужда прятать естественный цвет гривы у нее отпала: розовый давным-давно обернулся самым что ни на есть белоснежно-серебристым. Мэр, что занимала пост дольше всех в истории Понивилля, поприветствовала Кэррота с неизменным жаром.

И та же скорбь, какую она видела в нем, переполняла ее саму. Она тоже была на вчерашней вечеринке, провожала «племяшек» на поезд. Кобыла сразу же распознала, что терзает Кэррота, но члены совета требовали внимания. Ей только и оставалось, что глянуть вслед уходящему другу.

Кэррот брел по брусчатке, вслушиваясь в цоканье копыт, и так ненароком добрался до рынка. В голове вились мысли, вокруг жужжали разговоры. Слова Пинки... а что, если...

Он врезался прямо в Черили.

— Ой! Ох, простите! — затараторил он, помогая кобыле подняться на ноги. — Ну и растяпа же я.

— Да ничего страшного. Жива-целехонька.

Завязалась скромная беседа, подтапливаемая взаимными извинениями и заверениями, а небо все затягивали мрачные тучи. Пегасы что-то кричали, командовали, но жеребца они едва ли волновали. Вот же, на что он наделся! Надеялся поболтать, поговорить... отвлечься.

Хоть что-нибудь, что прогонит из мыслей опустевший дом.

— Уж простите, что вчера не повидала вас с Капкейк, но сколько ведь пришло пони, — продолжала Черили. — Вы так ими гордитесь, наверное!

— Безусловно! Так гордимся, что больше некуда, — Кэррот выпятил грудь. — Наши далеко пойдут!

— Тогда, мистер Кейк, отчего у вас такой несчастный вид, если не секрет? — тихим, но настойчивым голосом проговорила Черили.

Набранный в грудь воздух вырвался с протяжным вздохом. Кэррот поглядел на нее так, будто она только что узнала некую страшную тайну. Перед глазами мелькнул старик, виденный утром в зеркале. Какая же тут тайна?

— А заметно? — он отвел глаза — она смерила его своим особым непроницаемым взглядом. Так учителя смотрят на ученика, если хотят от него честного ответа.

— Очень, — кобыла опустилась на круп. — Не хотите поговорить?

Кэррот помялся немного, но в итоге тоже уселся прямо посреди рынка. Торговцы и лавочники вовсю сворачивали навесы, не желая угодить под запланированный погодниками дождь.

Небеса наливались черной краской, а Кэррот рассказывал о трудном, невероятно трудном дне, довлеющем над ним. О воспоминаниях, о звуках, о неклеящейся семейной рутине. С невероятным облегчением он вываливал весь накопившийся среди знакомых уютных стен пекарни душевный груз на сидящую перед ним кобылу. И это работало.

Когда рассказ подошел к концу, Черили на миг потупила взгляд, а затем подняла глаза к небу. И заговорила тихим, вкрадчивым голосом учителя, проведенного у доски не один десяток лет:

— Я понимаю слова Пинки. Да, расставание болезненно, но вы вдвоем как никто иной вправе грустить.

Она снова воззрилась на небо.

— В год, когда я потеряла своего первен...

Кэррот сочувствующе прятнул ушами. Жизнь Черили была непростой. Пускай она из тех провинциалок, которые с возрастом словно только хорошеют, даже у нее случались падения и горести.

— В год, когда мне дали отдохнуть от преподавания, мне довелось поговорить с пожилыми, отошедшими от дел учителями. И сущим кошмаром, как они говорили, для них была первая неделя нового учебного года. Первая неделя их зрелой жизни, когда им не надо было стоять у школьной доски и приветствовать класс. Но они-то чувствовали, что нужны там. Может быть и с вами что-то похожее, Кэррот? Может, вам обоим кажется, что вы нужны своим жеребяткам... а нужды уже нет.

— Т-так как же ваши знакомые учителя поступили?

— Взяли путевки. И уехали. Уехали от яблок, досок, мела и арифметики как можно дальше. И я поступила так же, — ее глаза широко открылись, а лицо озарила легкая улыбка.

— Сработало? — воодушевленно спросил Кэррот.

— О, еще как. Нас не было пару месяцев. А потом, ну... по возвращении у нас были кое-какие хорошие новости для всех.

Она кивнула: в отдалении, за рынком, ее муж на пару с двумя близняшками показались из новой библиотеки, которую отстроили на месте сгоревшей старой.

— Спасибо вам, Черили. Вы мне так помогли! — поблагодарил ободрившийся Кэррот. — Удачи в новом школьном году!

— Это вам спасибо, мистер Кейк, — она развернулась. — Передавайте миссис Кейк привет!

Он сидел и смотрел вслед семье учительницы, пока те окончательно не затерялись среди свернутых навесов покинутого рынка. Удостоверившись, что никто его не видит, он сорвался с места и сверкая копытами понесся к ближайшему турагенству.

* * *

— Доброго дня, сэр! Добро пожаловать в турагенство «Верхом на Раду...»

— Путевки! Где у вас тут путевки?!

Вопль Кэррота так бесцеремонно оборвал кобылу, что та невольно нырнула на пол. Ее копыто высунулось из-под стола и ткнуло в целую стену, завешенную цветастыми брошюрами и буклетами; все в сочных красках, они сулили настоящий рай.

Жеребец принялся загребать их копытом.

Стамбулл, Кавкутта — сначала самые экзотические. Следом пошли места и поприветливее: он хватал брошюры о Гермейнии, о Пранции и пригоршнями сыпал их в пустой контейнер.

Они и раньше путешествовали. Путешествовали в период неведения, когда еще думали, что никогда не заведут жеребят. В тот раз помогло, поможет и в этот. Да, да... еще как. Непременно поможет.

Он брал с каждой полки, не обращая внимания на перепуганную кобылу, что украдкой выглядывала из-за безопасного стола. Брал места ближние и дальние. Что угодно, лишь бы найти умиротворение, найти волю к жизни, оставить опустевшее гнездо с трудными днями позади. Мэйнхэттен, Балтимэйр, Детрот... да хоть к дискорду на рога!

Любое место, неважно какое... любое, которое укроет их от снедающей пустоты. Ну что-нибудь, хоть что-нибудь пускай их осчастливит... что угодно.

Он вихрем вылетел на улицу и, грохоча копытами по брусчатке, галопом ринулся домой. Накрапывала морось, предвестница ранней осени, и оставляла на сухой земле мокрые пятнышки — совсем как слезы.

* * *

Кэррот на всех парах несся к дому; отдышка, однако, брала свое. Неловко перебирая ногами, он ощущал при каждом соприкосновении копыта с землею, как старые кости раз за разом отзывались ломотой, напоминая о недавнем падении с лестницы.

Контейнер в зубах болтался туда-сюда, ну и пускай. Единственное, что застыло перед взором и мыслями, — теплый светлый огонек в окошке его пекарни, его дома. Свет манил в сгущающейся тьме и нарастающем шуме бури.

Кэррот уже достиг двери, как вдруг копыто поскользнулось на чем-то. Он чуть не грохнулся, громко вскрикнул: к старым болям прибавились новые. Затем сдвинул контейнер с брошюрами набок, дабы увидеть, что же его угораздило раздавить.

Он опустил взгляд и выронил контейнер изо рта.

Под копытом лежало ласточкино гнездо.

Козырек крыши все лето исправно оберегал гнездо, однако налетевшая буря сдула его оттуда. Оно выпустило в мир новую жизнь, а теперь лежало, сухое, разбитое и бесцельное. Кэррот дрожащим копытом поднял его к глазам.

Испорченное гнездо. Нечто, напоминавшее о доме для птенчиков, рассыпалось землей и соломой. Гнездышко попросту... сломалось.

Он долго не отрывал от него взора, и только потом грузно ввалился в дом.

Совсем скоро ливень хлынул с полной силой и принялся размывать то, что было для птенцов светлым местечком, уютным и теплым домом, покуда оно окончательно не возвратилось в ничто.

* * *

Было далеко за три — хватило одного взгляда на пустой прилавок. Пинки Пай, слава Селестии, ушла домой к собственным детишкам. Не хотелось бы, чтоб она видела его вот таким.

Кэррот опустил контейнер рядом с дверью и прижал пачку брошюр к груди. Подождал, пока теплая дождевая влага не стечет с шерсти. Отдышался, наострил уши: не слышно ли Капкейк на кухне или в спальне?

Какой-то негромкий шум доносился из гостиной, которая была в дальней части дома, и он на мгновение помедлил, собираясь с мыслями.

«Так, — размышлял он, поглаживая гриву и бородку, — закрываю лавку, ну как обычно, потом иду в гостиную и все показываю Каппи!»

Все же просто.

«Давай уедем».

Пара простых слов — все, что нужно, чтоб оживить дом и вернуть на ее лицо улыбку.

Все, что нужно, — плыть по течению рутины. Вместе, дружно.

Он отпер дверь в подвал.

— Эй, Паунд? Пинки уже ушла домой. Не хочешь пособить своему старику с лавкой?

Абсурдность этих слов буквально витала над Кэрротом. Чистейшая, незамутненная непреложность словно огрела его по голове, тело вдруг закачалось, а брошюры выпали из копыта и рассыпались по половицам, залетая под мебель.

«Его нет».

Не было сынишки.

Мальчуган, который с рождения вился подле него, покинул стены теплого и безопасного родительского дома. Не было жеребчика, который беспокойно стоял на облаках как выпускник Летней летной школы... Некого похвалить, некого научить настоящей жеребцовой мудрости.

Его сынишка ушел.

«Нет и ее».

Не было дочки.

Не было маленькой кобылки, которая прибегала из школы и тут же бросалась ему на шею, чтобы чмокнуть в щеку. Дом лишился художеств и удивительного сияния волшебства. Утих ее звонкий смех и переливы голоса — теперь стоял он молчаливо.

Его дочка ушла.

Дети ушли.

— Кэррот!

От надрывного голоса, разорвавшего тишину, у Кэррота застыла кровь в жилах. Копыта смели прочь позабытые буклеты и контейнер.

— Кэррот!

Он пронесся сквозь кухонные дверцы-створки. Протопал мимо остывших печей и сушилки с посудой, все так же прикрытой полотенцем, как утром. Ворвался в гостиную. Там, на старинной кушетке, сидела его жена.

— Кэррот! — снова всхлипнула она. — Я пытаюсь, пытаюсь изо всех сил, но не могу перестать думать о них!

Он поглядел на ее копыта: их изящно обвивали два длинных и тонких белых шнура. И мгновенно узнал их. Любой отец узнал бы эти веревочки, исписанные маленькими грубоватыми отметинами.

Паунд Кейк, 3 года

Пампкин Кейк, 5½ лет

Паунд Кейк, 9 лет

Пампкин Кейк, 11 лет

История жизни их детей лежала у нее в копытах, а слезы, не переставая, все лились градом из глаз. Он сгорбился рядом.

— Так тихо, Кэррот, — жалобно захныкала Капкейк, выпустив веревочки на пол. Она прижалась к его груди, к единственному месту в мире, где она ощущала себя в полной безопасности. — Тихо в доме! Разве так должно быть? Почему он такой тихий, Кэррот?

— Ничего, — приговаривал он, — управимся. Ничего... плакать это нормально, Каппи. Давай, поплачь.

— Мы в доме совсем одни! Ох, Кэррот, я весь день пытаюсь не думать о них, но... но!.. — с глазами, полными слез, стенала она, укачиваемая движениями мужа. — О, Кэррот... я с-сучаю по ним! Не прошло и дня, а я уже без них не могу! Хочу... не могу... хочу своих деток назад! Назад!

Но Кэррот был бессилён, он только баюкал ее да тихо напевал. Слова покинули его — а если б и нет, собственные непролитые слезы превратили бы их в невнятный бубнеж. Он прижал голову жены к себе и уткнулся носом в гриву.

Сегодня выдался трудный день, и только сейчас, под самый вечер, Кэррот наконец смирился со словами Пинки. Только сейчас мудрый совет второй дочери утвердился в его думах.

— Поплачь-поплачь, Каппи. Ничего, я рядом, — надтреснутым голосом шептал он, а вскорости не сдержался и сам присоединился к жене, прижав ее крепче к себе. Слезы, пропитывая шерстку, катились по лицу крупными ясными каплями.

Два десятилетия назад они точно так же держали друг друга, лежа на старинной кушетке. И той ночью, под елочными огнями Согревающего очага, их священный союз дал начало новой жизни — жизни одной единорожки и пегасика, столь давно желанных.

А вчера в длинной книге о малышах Кейках была поставлена жирная точка. История подошла к логичному концу, где «жили они долго и счастливо».

Теперь же, когда Кэррот держал жену в крепких объятиях, баюкал и утешал, успокаивал и твердил слова любви, теперь до него наконец дошел смысл слов Пинки.

«Мамочка», которая дула на «бо-бо», готовила бутылочки для молока, рассказывала сказку на ночь и целовала перед сном, — ее прах унес ветер. «Папа», который чинил сломанные игрушки, катал на спине, искал чудищ в шкафу и под кроватью, — его останки смыл прилив.

Два десятилетия — счастливые, беззаботные годы — подошли к концу.

Вчера был тяжелый день, но тот день был закалён надеждой на будущее. Вчерашние слезы ковались в гордости за проделанный труд.

Сегодня же было еще трудней, и долгое время Кэррот никак не понимал, отчего же. Да, они в полном праве лить свои эгоистичные слезы — слезы за жизнь, ушедшую безвозвратно.

Кейков, какими они знали себя, больше нет.

Кэррот, покачивая Капкейк, провел копытом по ее спине, а затем только сильнее прижал к себе. Дождь барабанил по окнам пустых комнат, порождая странные отзвуки. Но только всхлипы двух пони нарушали тишину в огромном молчаливом доме.

Завтра будет новый день — день для разговоров о будущем. Завтра ей можно будет показать брошюры, может быть, даже поговорить о путешествии. Но то завтра, не сегодня. Сегодня день для слез, заслуженных слез.

— Люблю тебя, Каппи.

Кэррот поднял затуманенные глаза и поглядел на комнату, на дом, ставший вдруг чересчур безмолвным. Дом без света и радости юных голосов. Дом холодный, где обитают лишь видения и отголоски.

Дом помрачневший и безжизненный.

Опустевшее гнездо.

Дом, который покинули дети.